

Продолжение. Начало в № 5–12 за 2015 год, в № 1 за 2017 год

Рисунок Марины Медведевой

СЕНБЕРНАР

Однажды в девяностом мне довелось отправлять человека на войну. С которой он не вернулся. Это воспо-

минание саднит во мне до сих пор, зловеще поднимаясь временами, как поднимается иногда, змеиным брюхом кверху, угрюмая донная рыбина.

Человек, которого я отправлял на войну, даже по виду совершенно невоенный.

Чаще всего мне приходилось отправлять их за границу. В тогдашнем ЦК я занимал, в общем-то, невеликую, но твердую должность: заведующий подотделом средств массовой информации. Руководящий состав, как и руководящий кадровый резерв «подручных партии», находился формально в моем ведении. Повторяю, формально: больших начальников, главных редакторов мне «спускали» сверху — секретари ЦК или сам Генеральный. Я, как правило, только «проштамповывал» их «дела»: мол, выдвигаю.

А выдвигали на самом-то деле, как и задвигали, другие. Два раза только удалось мне продвинуть «свои» кандидатуры, о чем я и сейчас не сожалею: Леонида Кравченко — на должность председателя Гостелерадио СССР и Толю Юркова — главным редактором газеты ЦК «Рабочая трибуна». Обоим знал неплохо. Один так даже был когда-то против того, чтобы меня утвердили собкором «Комсомолки». Да, еще содействовал тому, чтобы Гена Селезнев стал первым заместителем главного в «Правде». И чтобы Владика Фролина, странно объединившись друг с другом, Егор Кузьмич Лигачев и Александр Николаевич Яковлев не спихнули все с той же «Комсомолки».

Гены уже нет в живых, остальные дружат со мною до сих пор.

Чаще всего я беседовал, «собеседовал» с теми журналистами, кто отправлялся на переднюю фронта идеологического. В длительную командировку за рубеж. Собственными корреспондентами центральных газет.

Как же непохож на них парень, которого я благословлял на войну!

Те ребята, как правило, чинные, если не холеные, то образцово опрятные, я бы сказал — обструганные, хотя под цивильными пиджаками некоторых — я знал — еще или уже топорщились похрустывающие погоны. В обычной жизни они, вполне возможно, бывали другими, более раскованными, более свойскими, больше журналистами — сюда же, в ЦК, приходили начинающими чиновниками. Заточенными. Целеустремленными, всезнающими — от языка, пока еще русского, все отскакивало, — подчеркнуто советскими и спружиненными для стайерского старта. Когда только начинал работу в этой должности, было принято, чтобы «кандидаты» являлись еще и с собственными женами. Как бы демонстрируя крепость семейных уз (сперва предашь жену, следом — Родину) и заодно хотя бы некоторую подкованность и политическую благонадежность своих благоверных. Некоторые из коих доходили в своем показном рабоче-крестьянском рвении и до такой аскезы, что являлись «на смотрины» в стоптанных башмаках от «Скорхода».

Горжусь, что именно я поломал эту нелепую практику — отказался встречаться с чужими женами. Не в целом, правда, а исключительно в ЦК. По службе.

Этот же совсем другой. Отчаянно, до самых глаз бородат — кандидаты на счастливый «вылет» являлись обнуленными, как новобранцы, — небрежно одет, правда, в этой нарочитой небрежности сквозил тот истинно журналистский, столичный, почти клошарский шик, что присущ даже не газетчикам и тем более не телевизионщикам, круглые сутки, и в нерабочее время, пребывающим на своей заблеванной эстраде, а именно настоящим, со стажем, матерым волкодавам истинно невидимого фронта — радио.

Как правило, тощим, но действительно матерым.

Радио — самая интеллектуальная и самая всепожирающая сфера журналистики. Всепожирающая, потому что требует бешеной самоотдачи и — настоящего таланта. А талант — он и сам вечно голоден, и хозяина своего сжирает, сжигает без остатка. Тот случай, когда раб и хозяин меняются местами.

По радио труднее врать. Неслучайно детектор лжи построен на голосе, а не на внешности. Даже сегодня еще радио честнее телевизора.

С радио я в своей жизни восхищался двумя людьми. Синявским, когда был еще мальчиком и вместе со взрослыми деревенскими мужиками простаивал под высоченным, просмоленным столбом в центре села с единственным на всю округу алюминиевым репродуктором-колоколом. Под ним даже пьяные матерились шепотом: Синявский говорит!

А вот когда заговорил, забредил Хрущев, в колокол швыряли трюхами — заткнуть.

И еще один г о л о с, запавший в душу и работавший в шестидесятые-семидесятые на «Юности». Это была удивительная радиостанция. В сугубо «вертикальной», замороженной, на все болты завинченной стране — живой, романтизированный ручеек с совершенно человеческим, проталинным бормотанием. Да, радиостанция наверняка была придумана в недрах большого ЦК (маленький, комсомольский действовал по принципу «партия сказала — комсомол ответил»), чтобы одухотворять грандиозные стройки того времени (у нынешнего строек нет — исключительно надстройки, подсобки и надгробия). И, обманым голосом сирен, зазывать на них молодежь. «А я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги...» — стало быть, не за длинным рублем, хотя и платили там на порядок щедрее, чем «дома», в черте привычной оседлости. Но журналист, по правде говоря, уже по природе своей «обманываться рад» — сейчас, правда, как правило, обманываться за деньги, а тогда, довольно часто, чаще, чем сегодня, в силу извечной человеческой тяги к идеалу.



Люди пишущие, особенно пишущие в журналистской, публицистической плоскости, почему-то подвержены этой тяге чаще всего.

Ну, как служители культа: среди них атеистов все же меньше, чем среди нас, обнаковенных.

И тогда из этого трогательного и потому простибельного самообмана временами прорезываются удивительные голоса.

Это как если бы в булгаковском «Массолите», зычно грянувшем поневоле, по коварной воландовской подсказке «Священный Байкал», вдруг прорезался бы детский трепещущий дискант несовершеннолетнего, нестеровского солиста церковного хора.

Один такой доверительный, церковно-детский, выпадущий и голос из тогдашней «Юности» и задал в меня еще с моей собственной, с малой буквы и без кавычек, юности — отрочества, услышанный впервые, по-моему, еще в интернатской спальне, из нашего общественного, как и туалет, репродуктора.

Я тогда сам чуть не рванул за ним, пристанным, в далекие, туманные и, как я много позже узнал, не такие уж доходные и высокооплачиваемые края — слава богу, любимый учитель, хлебнувший и фронта, и концлагеря, и, за концлагерь, тех самых сибирских далей, остановил. И я благоразумно переместился с интернатской парты всего лишь на местный ремзавод и в школу ра-

бочей молодежи. Где парты висели на наших коленках, как девушки на гнутых скамейках в здешнем же, буденовском, весьма скудно освещенном, тоже вечернем, сквере.

Голос Максима Кусургашева.

Сорванный, хриплый, наверняка прокуренный и почти наверняка проспиритованный: в церковных хорах солируют и такие.

Воистину репортерский.

Смею вас, сегодняшних моих возможных читателей, уверить: для меня он действительно одухотворял великие стройки тогдашних лет, каковыми, в общем-то, мы живы и даже в меру сыты и до сих пор.

Слова его были скромно возвышенные — им можно было бы и не верить. Но не верить голосу было невозможно.

Голос Кусургашева предвосхитил хрипоту — храпоту Высоцкого.

Он был даже не «Юности» — он был голосом странной, брезжущей пряды, которая на поверку в конечном счете всегда оказывается Старостью.

Опять же много позже, на одной журналистской тузовке, я увидел его впервые воочию.

И все равно — сперва у слыхал.

В разноголосице уже не очень тверезых голосов с какой-то щемящей оттяжкой узнал, как узнают хриплый,

простуженный, п а р о х о д н ы й гудок, далекий, надтреснутый речитатив из собственной юности — младости.

Подошел и, наугад, поздоровался. Невысокий, скромного русско-татарского сложения, но со все еще чубарым, не седым, а всего лишь проржавевшим чубом и с той нашенской родимой, отечественной, пожилой корявинкой, в которую ткни палец и — сломаешь. На таких пеньках еще о-го-го как шампиньоны плодятся. Совершенно спокойно отозвался он на мое предложенное рукопожатие; видимо, привык, что его и по сию пору узнают исключительно по голосу.

Но это была наша первая и, увы, последняя личная, не аудио, встреча: насколько я прослышал, Максима Кусургашева сейчас в живых уже нету.

Лениного же голоса я не знал — не до голосов было мне в те сумасшедшие месяцы. Да, видимо, и не был он таким уж знаменитым, популярным радийщиком: на войны ведь и едут как правило те, кто только собирается стать знаменитым.

Пускай даже посмертно.

Уезжавшие за кордон вполне могли бы поменяться со мной местами и креслами: обличья вполне чиновного. Галстук, повадка... Этот же, плетясь по коридорам ЦК, производил в них, пожалуй, такое же ошеломление, какое, наверное, оставлял в них после себя, инверсией, в шестидесятых, Фидель Кастро.

Других таких волосатых, тощих и гнутых здесь и на квадратном километре не бывало.

Надо было «освещать» Карабах, и Леня сам вызвался туда поехать. А я по должности обязан был побеседовать с отъезжающим — отбывающим.

Признаюсь честно: я его не отговаривал. Более того, мне его добровольное «волеизъявление» пришлось даже на руку: не надо никого искать, выманивать у главных редакторов для горько открывшегося внутреннего фронта. Столь непривычного для всех нас в те еще мирные, еще твердо советские времена.

Я только советовал, даже просил его быть осторожнее. Не лезть в пекло. Это ведь не та война, в которой нужны сводки с передовой. Эти сводки, закрытые, били в душу независимо от того, кто там, в кавказской благословенной дали, наступал, а кто отступал. Сводки были закрытыми, но молва значительно опережала и усиливала их, и болело, в общем-то, у всей страны.

Он, опустивши кудлатую голову, слушал меня молча и угрюмо. Сейчас, десятилетия спустя, мне даже мнится — обреченно. И мне уже тогда показалось: он не едет, он — уезжает. От чего? От кого?

Может быть, и от самого себя.

Разговор недолгий и печальный. Мы оба понимали, чувствовали, а скорее предчувствовали больше, чем могли друг другу сказать.

Я встал, вышел из-за стола и, прощаясь, приобнял его за костлявые и сутулые плечи. Ростом он не ниже меня, мне показалось, он даже чуть склонился ко мне. Вышел он той же неторопливой, выплетающей походкой усталого и отоцвавшего сенбернара, какой и входил в цековский мой кабинет. Я возвратился за свой конторский стол. Разговаривать мне больше ни с кем не хотелось.

Больше я его не видал.

Погиб он очень скоро. Если не ошибаюсь, это был первый погибший журналист на нашей новой, новейшей внутренней гражданской войне. Раньше сроков дошел туда, куда, возможно, и решался — чтобы не видеть и не слышать того, что обрушилось на всех нас потом. Да, в общем-то, лавина беспощадно сдвинулась уже и в те далекие дни.

Мы с ним практически ровесники. Сейчас бы он тоже растил внуков и, может быть, попривык бы ко всему окружающему, в том числе и к бесконечной череде журналистских смертей, что по аномальности своей сопоставимы разве что с детской смертностью. Как, похоже, потихоньку и перед нашим собственным, почти неслышим, пожилым и скорбным отплытием — отбытием обываемся и все мы, ныне пока выжившие.

Я знаю, как он погиб. Мне рассказал очевидец, человек, крепко задействованный в те годы наряду со светлой памяти большим начальником — большим и все-таки тоже светлым — Аркадием Вольским в армяно-азербайджанском конфликте, вернее, в том, что мы называли его р а з р е ш е н и е м. Виктор Крипопусков. Офицер. Случилось стычка — сегодня их называют почти гражданским эвфемизмом «бестолкновение», — и Леня, как я ни отговаривал его накануне в заспанных коридорах ЦК, все же пропихался, проскребся на «передовую». Его даже за полу пиджака — или что там, куртки, — тянули к земле, к жизни приспособлявали, но он все равно поднялся во весь свой худосочный, гнутый и все равно немалый рост и тоже побежал, поковылял — усталый сенбернар — вперед.

Включив и обеими руками выставив перед собою тогдашний портативный — килограммов пять живого веса — походный магнитофон «Нагру», ныне совершенно ископаемый. Он что-то кричал и кого-то — бежавших навстречу? бежавших следом? — пытался остановить.

Советские сенбернары ведь были обучены не столько писать, сколько с п а с а т ь.

Леня, наверное, так и понимал свою м и с с и ю «на той войне незначимой...». Обоюдоострой и обоюдострашной.

А бежавшие навстречу или цепко и зорко сидевшие в траншее, возможно, приняли нелепую, допотопную «Нагру», трясущуюся от страха на его животе, за автомат.

И Леню срезали. Он падал, как падает от непосильного порыва или взрыва старый, ветхий, уже невесомый, уже до птичьей летучей перепончатости прохудившийся степной ветряк. Суставчато, коленчато, не по-птичьему даже, а — по-кузнечиковски, со многими смертными махами. И все же «Нагру», выданную под расписку, нежно прижимал, как будущую внучку, к впалому, небеременному животу.

Которая и записала — и стрельбу, и стон. Самые сильные слова, к кому-либо обращенные — в данном случае, наверное, ко всем нам, — чаще всего и бывают — стоном.

Услышанным, в н я т ы м или нет — это уже другое дело. Наше, а не его.

Я имел все основания попрощаться с ним именно так: приобняв по-дружески за плечи. Когда-то, еще в шестидесятых, его родная тетка — эффектная, рослая, с прической Мэрилин Монро, двигавшаяся, красиво кренясь на точеных английских каблучках, по факультету, как будто бы под дерзким, полным счастливого ветра парусом, — здорово выручила меня. Спасла от исключения из МГУ. Повод для исключения плевый, но дело закручивалось нешуточное: профессор Розенталь, участвовавший в заседании деканата, предложил «исключить». Но кто-то вдруг вызвал его к телефону — слава богу, мобильников еще не было и в помине, — и Элеонора Лазаревич, исполнявшая тогда должность декана, в два счета свернула дебаты.

— Иди! — царственно указала мне величавой рукой на дверь, в которой только что скрылся и уважаемый мною, уже тогда весьма старенький знаток русского правописания.

Я вопросительно воззрился на нее. «В каком смысле?» — прочитала она в моих глазах.

— Учись, дуралей! — улыбнулась своей неповторимой, тоже Мэрилин, улыбкою.

Ну, я и пошел: профессор, с которым столкнулся, едва не сбив его, невесомого, в приемной, видимо, решил, что меня действительно выперли. Не исключая, что звонок-вызов в приемную организовала, при полном отсутствии мобильных, ему сама же Элеонора.

Недавно был на факультете. В симпозиуме участвовал, опять же по русскому языку. В аудитории, где заседали, на стене висели портреты знаменитых выпускников и преподавателей. Висела там и карточка Элеоноры Лазаревич, на которой она по-прежнему, по-старинному больше похожа на актрису звукового кино, нежели на классную даму.

Мы встретились с нею взглядами. Будь я писателем нормальным, не испорченным «постмодернизмом», я бы в этом месте должен написать: мол, и я опустил глаза...

Нет. Я просто искал взглядом на этой же стенке Леню Лазаревича. Его там не было.

Я знаю, что красавица Элеонора умерла бездетной, и Леня был ее любимым племянником.

Продолжение следует.

